



АЛАН ДЮРАНТ

РЫБА-КЛОУН

*Посвящается моему отцу,
Кристоферу Дюранту (1929–2016),
с любовью вечной и навсегда*

«Скучаешь по своему папе,
да, акулий огрызочек?»

*Суровая рыба Жабр
из фильма «В поисках Немо»*



«Пап, а как это — быть рыбой?»

Я уже давно хотел его об этом спросить, а сейчас он как раз никуда не мчался, и в зале никого не было, так что момент показался мне подходящим.

Папа глянул вверх, испуганно дёрнулся и прынул в мою сторону. Его ротик открылся и снова закрылся, словно он тщательно обдумывал ответ.

— Мокро, — коротко сказал он.

— Но это... прикольно? Тебе нравится?

— Прикольно? Нравится? Ну, скажем, лучше, чем возиться с чужим мусором. — Перед тем, как стать рыбой, он работал в мусороперерабатывающем центре. — Много дел.

— Правда? А чем ты занимаешься целый день?

Он поёрзал в воде, как если бы рыба пожала плечами.

— Плаваю по аквариуму, гоняюсь за рыбами-ласточками, ем, пускаю пузыри, полёживаю в своей актинии, плаваю по аквариуму...

— Это ты уже говорил.

Папа надул губки.

— Правда? Ну, память у меня не такая хорошая, как раньше.

— Это потому, что ты рыба, пап, — улыбнулся я. — Наверно, здорово жить вот так в аквариуме, со всеми этими обалденными рыбками... Просыпаешься утром и сразу видишь скатов.

Скаты всегда были нашими любимцами. Они всплывали на поверхность, поднимали свои странные плоские головы, будто просили, чтобы их погладили, и радовались ласке... Одни были на ощупь шероховатыми, другие — скользкими. На спине у скатов — небольшие наросты, по которым можно пробежаться пальцами, пока они проплывают мимо, словно на музыкальном инструменте играешь.

— А, скаты, — пренебрежительно буркнул папа. — Те ещё выпендрёжники. Неохота на них время тратить.

— Как же, пап? — поразился я. — Тебе же так нравились скаты. Ты называл их «скаты-акробаты»... Разговаривал с ними всегда, ну, помнишь? Ты говорил, они понимают каждое слово.

— Ну просто я тогда не был рыбой. А теперь я лучше в курсе дела, я ведь стал к ним ближе. И вот, слушай, что я тебе скажу: скаты — чуть не самая дурная рыба во всём океане. Все остальные над ними прикалываются. Ты бы слышал, какие анекдоты о них рассказывают!

— Правда? А какие?

Папа на минуту задумался:

— Как можно назвать умного ската?

— Не знаю, — ответил я. — И как же можно назвать умного ската?

— Камбала.

Я сделал удивлённое лицо:

— Не понял.

— Да потому что умных скатов не бывает, ясно? Так что, если скат — умный, значит, это камбала — просто другая плоская рыба. Понял?

— Нуу, — я поморщился. — Это же не очень смешная шутка?

Папа раздражённо замахал хвостом.

— Надо быть рыбой, чтобы её оценить. У рыб очень необычное чувство юмора.

— Да уж вижу, — сказал я.

Он подплыл к самому стеклу, быстро огляделся по сторонам, словно хотел убедиться, что вокруг никого нет, и помахал мне плавником, чтобы я придвинулся ближе.

— У тебя нету с собой случайно какого-нибудь бургера? — шепнул он.

Я помотал головой.

Он вздохнул:

— Ну, может, в другой раз. — Потом зевнул. — Ладно, слушай, я пойду отдохну в своей актинии. Знаешь, там так здорово! Красотища! Будто заныриваешь в самый пушистый и длинноворсистый ковёр, какой только можно себе представить. Тебе надо как-нибудь попробовать.

Папа прынул в сторону, потом обернулся и подплыл обратно к стеклу.

— Но, если подумать, — добавил он серьёзным отцовским тоном, — щупальца у них ядовитые, так что ты лучше держись от них подальше. Одного умерше... — Он осёкся. — Одной *рыбы* в семье вполне достаточно.



А началось всё так.

Однажды утром папа завтракал, а мама заваривала чай. Я уже убежал в школу. Папа, как всегда, шутил и валял дурака. Это мне в нём ужасно нравилось. А мама иногда на него злилась: может быть, поэтому она сперва и не восприняла всерьёз, когда он стал задыхаться.

Он просто откусил кусочек подсушенного хлеба (тщательно намазанного маслом, а поверх — тоненьким слоем пасты «Мармайт» и ещё одним слоем — клубничного конфитюра, это была его любимая «стряпня», как он сам выражался) — и тут он закашлялся и стал задыхаться. А мама решила, что... ну просто что папа ведёт себя как

обычно. Но потом он упал лицом вниз на кухонный стол, и она поняла, что на самом деле что-то случилось. Мама вызвала скорую, но к тому времени, как врачи приехали, папа уже не шевелился, не дышал, не было ни сердцебиения, ни пульса. Они пытались его реанимировать, но ничего не смогли сделать. Это был обширный инфаркт.

Он умер. Ушёл от нас... По крайней мере, так всё выглядело.

У меня это просто в голове не укладывалось. Какой-то абсурд. В то утро, когда я ушёл в школу, папа был дома; он, как всегда, шутил, строил рожи, кривлялся, собирался провести дома целый день, а потом, когда я вернулся, он был уже мёртв. Это же бессмыслица, нет?

Я не мог даже плакать. Я вообще ничего не чувствовал. Всё было так странно: мамино бледное лицо и её рыдания; поток людей, проходивших через наш дом и задававших мне вопросы: всё ли со мной нормально? Не хочу ли я с кем-то поговорить? Конечно, я хотел: я хотел поговорить с папой. Хотел, чтобы он вошёл с улицы, посмеиваясь над шуткой, которую с нами сыграл. Я хотел, чтобы он подмигнул мне и сказал: «Ну что, Дак, надул я тебя?»

Я думал, может, на похоронах что-то изменится, но не тут-то было. Там всё стало казаться

мне ещё менее реальным. В крематории священник, которого я никогда раньше не видел, сказал прощальные слова о папе. «У Роберта было отличное чувство юмора, — сказал он. — Всем, кто его знал, будет его очень не хватать». Никто и никогда не звал папу Робертом. Он был Боб или иногда Бобби, но только не Роберт. Всё вместе было неправдой.

Когда гроб поехал вниз, зазвучал хор «Аллилуйя», который папа напевал миллион раз, всегда — в шутку, смешным, якобы оперным, голосом. И никогда всерьёз, как пели сейчас.

Потом люди подходили, жали мне руку и говорили, какая это трагедия, как они соболезнуют и как мужественно я держусь. Я не чувствовал себя мужественным. Я вообще ничего не чувствовал. Как будто между мной и всем происходящим выросла стеклянная стена. Эта стена отодвинулась лишь однажды: когда я поднял глаза и увидел прямо над головой клубы серого дыма, вылетающие из труб крематория. Меня ударила острая боль, словно сердце сжали клещами, и я быстро опустил глаза.

В тот вечер я зашёл в спальню родителей и нашёл в комодe одну из папиных любимых толстовок — тёмно-серую, как грозовая туча, с жёлтым смайликом. Я взял её в кровать и вдыхал знакомый папин запах, прижимая её к себе, как маленькие — игрушку, с которой спят,

словно в отчаянной надежде вернуть его к жизни этим волшебством — ведь клонируют же человека в научно-фантастических фильмах всего лишь по одной цепочке ДНК.

Но папа не возвращался, да и как ему вернуться? Он больше никогда не зайдёт ко мне в комнату, не взъерошит мне волосы, не выпалит очередную шуточку, не поцелует на ночь. Я уже никогда не увижу его лицо и не услышу голос, — так я думал. И крепче прижимал толстовку к мокрым глазам.

Папы больше нет. И это навсегда.

Проснувшись на следующее утро, я понял, что мне надо выйти из дома. Я слишком долго просидел в четырех стенах. Я устал от посетителей, из-за которых папино отсутствие становилось ещё невыносимее. Эти люди нам даже не родственники. У мамы с папой нет братьев и сестёр, и у меня тоже нет. Наша единственная родственница — мамина мама, моя бабушка, живёт на другом конце земли. Заходили же к нам друзья семьи и соседи, вроде миссис Бакстер, которая сейчас с мамой, соседка из дома, что стоит дальше по нашей улице.

Мне миссис Бакстер не нравилась, и я не хотел, чтобы она была тут и вела себя по-хозяйски, как у себя дома. Я хотел видеть только папу. Неужели никто не способен это понять? Всё, что мне нужно, — это папа, мой смешной, ненормальный, добрый обалденный папа.

Я даже с друзьями не хотел разговаривать. В школе у меня было двое лучших друзей — Руби и Том. Мы часто встречались по выходным — забегали друг к другу в гости, отправлялись на пляж или в торговый центр. Они мне очень нравились. Но после того, что случилось с папой, я не мог с ними говорить. Я не хотел их видеть. Я был уверен, что они начнут задавать вопросы и жалеть меня, как и все остальные, и мне было тошно от одной этой мысли.

Они звонили мне и посылали мейлы, говорили, что хотят зайти повидаться, но я не соглашался. Мне казалось, что голова вот-вот взорвётся и там нет места для других людей, даже для друзей — и особенно для друзей. Так что я сторонился их и отвергал все попытки пообщаться и помочь мне. Руби однажды просто пришла к нам домой, но я не открыл ей дверь. Сделал вид, что никого нет дома. Мне было стыдно, что я так сделал, но я не мог её впустить. Не мог, и всё.

В то утро, после похорон, я сбежал в океанариум. Он был неподалёку, в нескольких минутах пешком по берегу, и от холодного ветра мне стало полегче. Я пошёл именно в океанариум потому, что это было папино любимое место, и мне там тоже нравилось. Мы бывали в океанариуме так часто, что папа купил семейный абонемент. И теперь я могу ходить туда, когда захочу.

Папа и Стефан, хозяин океанариума, — старые знакомые, они ещё в старших классах учились в одной школе. Они вечно болтали о тех далёких временах — об общих друзьях, о проделках, которые они устраивали. Это если не говорили о рыбах. Они оба очень любили рыб. Папа говорил, что они — «ихтиофилы». Он произносил это как «ик-тиофилы». Будто на него напала икота. Я всегда улыбался, когда он так говорил, а вот Стефан — нет. У Стефана тяжёлые веки и понурое усатое лицо, так что он всегда выглядит несчастным.

«Выше хвост, Стефан, может, ничего плохого и не случится», — частенько говорил ему папа.

«Уже случилось, Боб», — мрачно отвечал Стефан.

— Да, не ожидал тебя увидеть, — удивлённо сказал он мне, когда я толкнул стеклянную дверь и вошёл в океанариум. — Как ты?

— Нормально, — пробормотал я. В ярком свете фойе мне было неудобно. Хотелось поскорее попасть в главный зал, в полумрак и обезличенность.

Стефан пригладил русые с сединой усы, свисавшие по обе стороны его рта, как усики у рыб:

— Никак не могу в это поверить, ну, про твоего папу. Это ужасно. Ужасно.